

ТЕМА — СЕРИЯ

Борис Савинков



*Конь бледный
Конь вороной*

Борис Ропшин
Конь бледный

«Public Domain»

1909

Ропшин Б. В.

Конь бледный / Б. В. Ропшин — «Public Domain», 1909

Борис Савинков (1879-1925) – литературный псевдоним В.Ропшин – больше известен в нашей стране как политический деятель, чем как талантливый публицист и писатель. Его перу принадлежат высокохудожественные произведения – повести «Конь бледный» и «Конь вороной», представленные в сборнике. Повесть «Конь бледный», в которой отразилось разочарование в террористической борьбе, была написана в России в 1909 году.

© Ропшин Б. В., 1909

© Public Domain, 1909

Содержание

6 марта.	5
8 марта.	6
9 марта.	7
10 марта.	8
11 марта.	9
13 марта.	10
14 марта.	11
17 марта.	12
19 марта.	13
21 марта.	14
24 марта.	15
28 марта.	16
29 марта.	17
30 марта.	18
2 апреля.	19
4 апреля.	20
7 апреля.	21
8 апреля.	22
9 апреля.	24
10 апреля.	26
12 апреля.	27
13 апреля.	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Борис Савинков (В.Ропшин)

Конь бледный

*... И вот конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть;
и ад следовал за ним...*

Откр.6, 8.

*Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме
ходит, и не знает, куда идет, ибо тьма ослепила ему глаза.*

Иоан. II, 11.

6 марта.

Вчера вечером я приехал в Москву. Она все та же. Горят кресты на церквах, визжат по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, и у Страстного монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная.

У меня паспорт с красной печатью английского короля и с подписью лорда Ландсдоуна. В нем сказано, что я, великобританский подданный Джордж О'Бриен, отправляюсь в путешествие по Турции и России. В русских участках ставят штемпель «турист».

В гостинице все знакомо до скуки: швейцар в синей поддевке, золоченые зеркала, ковры. В моем номере потертый диван, пыльные занавески. Под столом три кило динамита. Я привез их с собою из-за границы. Динамит сильно пахнет аптекой и у меня по ночам болит голова.

Я сегодня пойду по Москве. На бульварах темно, мелкий снег. Где-то поют куранты. Я один, ни души. Передо мною мирная жизнь, забыты люди. А в сердце святые слова:

«Я дам тебе звезду утреннюю».

8 марта.

У Эрны голубые глаза и тяжелые косы. Она робко жметя ко мне и говорит:

– Ведь ты меня любишь немножко? Когда-то, давно, она отдалась мне, как королева: не требуя ничего и ни на что не надеясь. А теперь, как нищенка, просит любви. Я смотрю в окно на белую площадь. Я говорю:

– Посмотри, какой нетронутый снег. Она опускает голову и молчит. Тогда я говорю:

– Я вчера был в Сокольниках. Там снег еще чище. Он розовый. И синие тени берез. Я читаю в ее глазах:

– Ты был без меня.

Послушай, – говорю я опять, – ты была когда-нибудь в русской деревне?

Она отвечает:

–Нет.

– Ну, так ранней весной, когда на полях уже зеленеет трава и в лесу зацветает подснежник, по оврагам лежит еще снег. И странно: белый снег и белый цветок. Ты не видела? Нет? Ты не поняла? Нет?

И она шепчет:

–Нет.

А я думаю об Елене.

9 марта.

Генерал-губернатор живет у себя во дворце. Кругом шпионы и часовые. Двойная ограда штыков и нескромных взглядов.

Нас немного: пять человек. Федор, Ваня и Генрих – извозчики. Они непрерывно следят за ним и сообщают мне свои наблюдения. Эрна химик. Она приготовит снаряды.

У себя за столом я по плану черчу пути. Я пытаюсь воскресить его жизнь. В залах дворца мы вместе встречаем гостей. Вместе гуляем в саду, за решеткой. Вместе прячемся по ночам. Вместе молимся Богу.

Я его видел сегодня. Я ждал его на Тверской. Я долго бродил по замерзшему тротуару. Падал вечер, был сильный мороз. Я уже потерял надежду. Вдруг на углу пристав махнул перчаткой. Городовые вытянулись во фронт, сыщики заметались. Улица замерла.

Мимо мчалась карета. Черные кони. Кучер с рыжею бородою. Ручка дворец изгибом, желтые спицы колес. Следом сани, – охрана.

В быстром беге я едва различил его. Он не увидел меня: я был для него улицей.

Счастливый, медленно я вернулся домой.

10 марта.

Когда я думаю о нем, у меня нет ни ненависти, ни злобы. У меня нет и жалости. Я равнодушен к нему. Но я хочу его смерти. Я знаю: его необходимо убить. Необходимо для террора и революции. Я верю, что сила ломит солому, не верю в слова. Если бы я мог, я бы убил всех начальников и правителей. Я не хочу быть рабом. Я не хочу, чтобы были рабы.

Говорят, нельзя убивать. Говорят еще, что министра можно убить, а революционера нельзя. Говорят и наоборот.

Я не знаю, почему нельзя убивать. И я не пойму никогда, почему убить во имя свободы хорошо, а во имя самодержавия дурно.

Помню, – я был в первый раз на охоте. Краснели поля гречихи, падала паутина, молчал лес. Я стоял на опушке, у изрытой дождем дороги. Иногда шептались березы, пролетали желтые листья. Я ждал. Вдруг непривычно колыхнулась трава. Маленьким серым комочком из кустов выбежал заяц и осторожно присел на задние лапки. Озирался кругом. Я, дрожа, поднял ружье. По лесу прокатилось эхо, синий дым растаял среди берез. На залитой кровью, побуревшей траве бился раненый заяц. Он кричал, как ребенок плачет. Мне стало жалко его. Я выстрелил еще раз. Он умолк.

Дома я сейчас же забыл о нем. Будто он никогда и не жил, будто не я отнял у него самое ценное – жизнь. И я спрашиваю себя: почему мне было больно, когда он кричал? Почему мне не было больно, что я для забавы убил его?

11 марта.

Федор кузнец, бывший рабочий с Пресни. Он в синем халате, в извозничьем картузе. Сосет с блюдечка чай.

Я говорю ему:

– Ты был в декабре на баррикадах?

– Я-то? Я в доме сидел.

– В каком доме?

– А в школе, в городской то есть.

– Зачем?

– В резерве был. Две бомбы держал.

– Значит, ты не стрелял?

– Как нет? Стрелял.

Так ты расскажи.

Он машет рукой.

– Да что... Артиллерия пришла. Стали в нас из пушек палить.

– А вы?

– Ну и мы... Из пушек мы, говорю, палили. Сами на заводе делали. Маленькие, вот с этот стол, а бьют хорошо. Человек пятнадцать мы из них положили... Ну, тут скоро шум большой вышел. Потолок бомбой пробил, человек восемь наших взорвало.

– А ты что?

– Я? Что ж я? Я главное в резерве был. В угле с бомбами находился... А потом приказ вышел.

– Какой приказ?

– От комитета приказ: уходить. Ну, мы видим: дела хоть закуривай. Подождали малое время, ушли.

– Куда ж вы ушли?

– В нижний этаж ушли. Там ловчее стрелять было.

Он говорит неохотно. Я жду.

– Да, – продолжает он, помолчав, – была тут одна... со мной солидарная... вроде будто жена.

– Ну?

Ну, ничего... Убили ее казаки.

За окном гаснет день.

13 марта.

Елена замужем. Она живет здесь, в Москве. Я ничего больше не знаю о ней. По утрам, в свободные дни, я брожу по бульвару, вокруг ее дома. Пушится иней, хрустит под ногами снег. Я слышу, как медленно бьют на башне часы. Уже 10 часов. Я сажусь на скамью, терпеливо считаю время. Я говорю себе: я не встретил ее вчера, я встречу ее сегодня.

Год назад я впервые увидел ее. Я весной был проездом в N. и утром ушел в парк, большой и тенистый. Над мокрой землей вставали крепкие дубы, стройные тополя. Было тихо, как в церкви. Даже птицы не пели. Только журчал ручей. Я смотрел в его струи. В брызгах сверкало солнце. Я слушал голос воды. Я поднял глаза. На другом берегу в зеленой сетке ветвей стояла женщина.

Она не замечала меня. Но я уже знал: она слышит то, что я слышу. Это была Елена.

14 марта.

Я у себя в комнате. Наверху, надо мной, тихо звенит фортепьяно. Шаги тонут в мягком ковре.

Я привык к нелегальной жизни. Привык к одиночеству. Я не хочу знать будущего. Я стараюсь забыть о прошедшем. У меня нет родины, нет имени, нет семьи. Я говорю себе:

Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie,
Dormez, tout espoir,
Dormez, tout envie.

Но ведь надежда не умирает. Надежда на что? На «звезду утреннюю»? Я знаю: если мы убили вчера, то убьем и сегодня, неизбежно убьем и завтра. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод и сделалась кровь». Ну, а кровь водой не зальешь и огнем не выжжешь. С нею, – в могилу.

Je ne voit plus rien,
Je perds la memoire
Du mal et du bien,
O, la triste histoire!

Счастлив, кто верит в воскресение Христа, в воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки, и 15 десятин разделенной земли меня не прельщают. Я сказал: я не хочу быть рабом. Неужели в этом моя свобода... И зачем мне она? Во имя чего я иду на убийство? Во имя террора, для революции? Во имя крови, для крови?..

Je suis un berceau,
Qu'une main balance
Au creux d'un caveau
Silence, silence...

17 марта.

Я не знаю, почему я иду в террор, но знаю, почему идут многие. Генрих убежден, что так нужно для победы социализма. У Федора убили жену. Эрна говорит, что ей стыдно жить. Ваня . . . Но пусть Ваня скажет сам за себя.

Накануне он возил меня целый день по Москве. Я назначил ему свидание у Сухаревки, в скверном трактире.

Он пришел в высоких сапогах и поддевке. У него теперь борода и волосы острижены в скобку. Он говорит:

– Послушай, думал ты когда-нибудь о Христе?

– О ком? – переспрашиваю я.

– О Христе? О Богочеловеке Христе? .. Думал ли ты, как веровать и как жить? Знаешь, у себя во дворе я часто читаю Евангелие и мне кажется есть только два, всего два пути. Один, — все позволено. Понимаешь ли: все. И тогда – Смердяков. Если, конечно, сметь, если на все решиться. Ведь если нет Бога и Христос человек, то нет и любви, значит нет ничего . . . И другой путь, – путь Христов . . . Слушай, ведь если любишь, много, по-настоящему любишь, то и убить тогда можно. Ведь можно? Я говорю:

– Убить всегда можно.

– Нет, не всегда. Нет, – убить тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми: нужно крестную муку принять, нужно из любви, для любви на все решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви. Иначе, – опять Смердяков, то есть путь к Смердякову. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу. Молюсь: Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве, ведь, не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь . . . И, ведь, знаю: мало во мне любви, тяжел мне мой крест.

– Не смейся, – говорит он через минуту, – зачем и над чем смеешься? Я Божьи слова говорю, а ты скажешь: бред. Ведь, ты скажешь, ты скажешь: бред?

Я молчу.

– Помнишь, Иоанн в Откровении сказал: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Что же, скажи, страшнее, если смерть убежит от тебя, когда ты будешь звать и искать ее? А ты будешь искать, все мы будем искать. Как прольешь кровь? Как нарушишь закон? А проливаем и нарушаем. У тебя нет закона, кровь для тебя – вода. Но слушай же меня, слушай: будет день, вспомнишь эти слова. Будешь искать конца, не найдешь: смерть убежит от тебя. Верую во Христа, верую. Но я не с ним. Недостоин быть с ним, ибо в грязи и крови. Но Христос, в милосердии своем, будет со мною.

Я пристально смотрю на него. Я говорю:

Так не убий. Уйди из террора.

Он бледнеет:

– Как можешь ты это сказать? Как смеешь? Вот я иду убивать, и душа моя скорбит смертельно. Но я не могу не убить, ибо люблю. Если крест тяжел, – возьми его. Если грех велик, – прими его. А Господь пожалеет тебя и простит.

– И простит, – повторяет он шепотом.

– Ваня, все это вздор. Не думай об этом.

Он молчит.

На улице я забываю его слова.

19 марта.

Эрна всхлипывает. Она говорит сквозь слезы:

– Ты меня совсем разлюбил.

Она сидит в моем кресле, закрыв руками лицо. Странно: я никогда раньше не замечал, что у нее такие большие руки.

Я внимательно смотрю на них и говорю:

– Эрна, не плачь.

Она подымает глаза. Нос у нее покраснел и нижняя губа некрасиво отвисла, Я отворачиваюсь к окну. Она встает и робко трогает меня за рукав:

– Не сердись. Я не буду.

Она часто плачет. Сначала краснеют глаза, затем опухают щеки, наконец, незаметно выкатывается слеза. У нее тихие слезы.

Я беру ее к себе на колени.

– Послушай Эрна, разве я когда-нибудь говорил, что люблю тебя?

– Нет.

– Разве я тебя обманул? Разве я не сказал, что люблю другую?

Она вздрогнула и не отвечает.

– Говори же.

– Да. Ты сказал.

– Слушай же дальше. Когда мне станет с тобой тяжело, я не солгу тебе, я скажу. Ведь ты мне веришь?

– О, да.

А теперь не плачь. Я ни с кем. Я с тобою.

Я целую ее. Счастливая, она говорит:

– Милый мой, как я люблю тебя.

А я глаз не могу оторвать от ее больших рук.

21 марта.

Я не знаю ни слова по-английски. В гостинице, в ресторане, на улице я говорю на ломаном русском языке. Выходят недоразумения.

Вчера я был в театре. Рядом со мной купец, толстый, красный, с потным лицом. Он сопит и угрюмо дремлет. В антракте поворачивается ко мне:

Вы какой нации?

Я молчу.

Я спрашиваю: какой вы нации?

Я, не глядя на него, отвечаю:

– Подданный Его Величества Великобританского короля.

Он переспрашивает:

– Кого?

Я поднимаю голову и говорю:

– Я англичанин.

– Англичанин? Так-с, так-с, так-с . . . Самой мерзкой нации. Так-с. Которые на японских миноносцах ходили, у Цусимы Андреевский флаг топили, Порт-Артур брали . . . А теперь, извольте, – к нам, в Россию пожаловали. Нет, не позволяю я этого.

Собираются любопытные. Я говорю:

Прошу вас молчать.

Он продолжает:

– В участок его. Может, он опять японский шпион или жулик какой . . . Англичанин . . . Знаем мы их, англичан этих . . . И чего полиция смотрит?

Я шупаю в кармане револьвер. Я говорю:

– Второй раз: прошу вас молчать.

– Молчать? Нет, брат, пойдем в участок. Там разберут. Недозволенно, чтобы, значит, шпионы. Нет. За царя! С нами Бог!

Я встаю. Я смотрю в упор в его круглые, налитые кровью глаза и говорю очень тихо:

– В последний раз: молчать.

Он пожимает плечами и молча садится.

Я выхожу из театра.

24 марта.

Генриху 22 года. Он бывший студент. Еще недавно он ораторствовал на сходках, носил пенсне и длинные волосы. Теперь, как Ваня, он огрубел, похудел и оброс небритой щетиной. Лошадь у него тощая, сбруя рваная, сани подержанные, – настоящий московский Ванька.

Он везет нас: меняи Эрну. За заставой обернулся и говорит:

– Намедни попа одного возил. На Собачью Площадку рядился, пятиалтынный давал. Ну, а где она Собачья Площадка? Везу. Крутил я крутил. Стал, наконец, поп ругаться: куда везешь, сукин сын? Я, говорит, тебя в полицию представлю. Извозчик, говорит, должен Москву, как мешок с овсом знать, а ты, говорит, экзамен, небось, за целковый сдал. Насилу я его умолил: простите, говорю, батюшка, Христа ради... А экзамена я действительно не держал. Карпуха-босяк за полтинник вместо меня явился.

Эрна почти не слушает. Генрих продолжает с воодушевлением:

– Вот тоже на днях барин один с барыней порядились. Старички. Будто из благородных. Выехал я на Долгоруковскую, а там трамвай электрический у остановки стоит. Ну, я не глядя: Господи благослови, – через рельсы. Как барин-то вскочит и давай меня по шее тузить: ты, говорит, негодяй, что же? Задавить нас желаешь? Куда, говорит, прешь. . . сукин сын? А я и говорю: не извольте, говорю, ваше сиятельство себя беспокоить, так что трамвай у остановки стоит, проедем. Тут слышу барыня по-французски заговорила:

Жан, говорит, не волнуйся, во-первых тебе это вредно, а кроме того и извозчик, говорит, человек. Ей-Богу, вот так и сказала: извозчик, мол, человек. А он ей по-русски: сам знаю, что человек, да ведь какая скотина... А она: фи, говорит, что ты право, стыдись... Тут он, слышу, за плечо меня тронул: прости, говорит, голубчик, и на чай двугривенный подает... Не иначе: кадеты... Н-но, милая, выручай!..

Генрих стегает свою лошаденку. Эрна незаметно жметя ко мне.

Ну, а вы как, Эрна Яковлевна, – привыкли?

Генрих говорит робко. Эрна, нехотя, отвечает:

– Ничего. Конечно, привыкла.

Направо Петровский парк, черный переплет обнаженных ветвей. Налево – белая скатерть поля. Сзади – Москва. Сияют на солнце церкви.

Генрих примолк. Тишина. Только сани скрипят.

На Тверской я сую ему в руки полтинник. Он снимает заиндевелый картуз и долго смотрит нам вслед.

Эрна мне шепчет:

Можно сегодня прийти к тебе, милый?

28 марта.

Генерал-губернатор ждет покушения. Вчера ночью он неожиданно переехал в Нескучное. За ним переехали и мы. Ваня, Федор и Генрих следят теперь в Замоскворечье: у Калужских ворот и на большой Полянке. Я брожу по Пятницкой и Ордынке.

Мы уже много знаем о нем. Он высокого роста, с бледным лицом и подстриженными усами. Выезжает в Кремль два раза в неделю, от 3-х до 5-ти. Остальные часы он дома. Иногда бывает в театре. У него три запряжки. Пара серых коней и две вороных пары. Кучер не старый, лет сорока, с рыжей, веером бороною. Карета новая с белыми фонарями. Иногда в ней ездит его семья: жена и дети. Но тогда кучер другой. Старик с медалями на груди. Охрану мы знаем тоже: два сыщика, оба евреи. Ездят всегда на гнедом рысаке, в открытых санях. Ошибиться нельзя и я думаю, что мы скоро назначим день. Ваня бросит первую бомбу.

29 марта.

Из Петербурга приехал Андрей Петрович. Он член комитета. За ним много лет каторги и Сибири, – тяжкая жизнь затравленного революционера. У него грустные глаза и седая борода клином. Мы сидим в «Эрмитаже». Он застенчиво говорит:

– Вы знаете, Жорж, в комитете поднят вопрос о временном прекращении террора. Что вы об этом думаете?

– Человек, – подзываю я полового, – поставь машину из «Корневильских колоколов». Андрей Петрович опускает глаза.

– Вы не слушаете меня, а вопрос очень важный. Как совместить террор и парламентскую работу? Или мы ее признаем и идем на выборы в Думу, или нет конституции и тогда, конечно, террор. Ну, что вы думаете об этом?

– Что думаю? Ничего.

– Вы подумайте. Может быть придется вас распустить, то есть организацию распустить.

– Что? – переспрашиваю я.

– То есть не распустить, а как бы это сказать? Вы знаете, Жорж, ведь мы понимаем. Мы знаем, как товарищам трудно. Мы ценим... И потом, ведь это только предположение.

У него лимонного цвета лицо, морщинки у глаз. Он наверное живет в нищей каморке, где-нибудь на Выборгской стороне, сам варит себе на спиртовке чай, бегаёт зимою в осеннем пальто и занят по горло всякими планами и делами. Он делает революцию.

Я говорю:

– Вот что, Андрей Петрович, вы решайте там, как хотите. Это ваше право. Но как бы вы ни решили, генерал-губернатор будет убит.

– Что вы? Вы не подчинитесь комитету?

– Нет.

– Послушайте, Жорж ...

– Я сказал, Андрей Петрович.

– А партия? – напоминает он.

– А террор? – отвечаю я.

Он вздыхает. Потом протягивает мне руку.

– Я в Петербурге ничего не скажу. Авось, как-нибудь обойдется. Вы не сердитесь.

– Я не сержусь.

– Прощайте, Андрей Петрович.

Вызвездило. К морозу. Жутко в пустых переулках. Андрей Петрович спешит на вокзал. Бедный старик. Бедный взрослый ребенок. Именно вот таких и есть Царство Небесное.

30 марта.

Я опять брожу около дома Елены. Это громадный, серый, тяжелый дом купца Купорова. Как могут жить люди в этой коробке? Как может жить в ней Елена?

Я знаю: глупо мерзнуть на улице, кружить вокруг закрытых дверей, ждать того, чего никогда не будет. Ну, если я даже встречу ее? Что изменится? Ничего.

А вот вчера, на Кузнецком, у Дациаро я встретил мужа Елены. Я издали заметил его. Он стоял у окна, спиной ко мне и разглядывал фотографии. Я подошел и стал рядом с ним. Он высокого роста, белокурый и стройный. Ему лет 25. Офицер.

Он обернулся и сразу узнал меня. В его потемневших глазах я прочел злобу и ревность. Я не знаю, что он прочел в моих.

Я не ревную его. Я не имею злобы к нему. Но он мне мешает. Он стоит на моей дороге. И еще:

когда я думаю о нем, я вспоминаю слова:

Если вошь в твоей рубашке Крикнет тебе, что ты блоха, – Выйди на улицу И убей!

2 апреля.

Сегодня тает, бегут ручьи. Лужи сверкают на солнце. Снег размок и в Сокольниках пахнет весной, – крепкой сыростью леса. Вечерами еще мороз, а в полдень скользко и каплет с крыш.

Прошлой весной я был на юге. Ночи, – ни зги.. Только горит созвездие Ориона. Утром по каменистому берегу я ухожу к морю. В лесу цветет вереск, расцветают белые лилии. Я карабкаюсь на утес. Надо мной раскаленное солнце, внизу – прозрачная зелень воды. Ящерицы скользят, трещат цикады. Я лежу на жарких камнях, слушаю волны. И вдруг, – нет меня, нет моря, нет солнца, нет леса, нет весенних цветов. Есть одно громадное тело, одна бесконечная и благословенная жизнь.

А теперь?

Один мой знакомый, бельгийский офицер, рассказывал мне о своей жизни в Конго. Он был один и у него было пятьдесят черных солдат. Его кордон стоял на берегу большой реки, в девственном лесу, где солнце не жжет и бродит желтая лихорадка. По ту сторону жило племя независимых негров, со своим царьком и со своими законами. День сменялся ночью и вновь наступал день. И утром, и в полдень, и вечером была все та же мутная река с песчаными берегами, те же ярко-зеленые лианы, те же люди с черным телом и непонятным наречием. Иногда он от скуки брал ружье и старался попасть в курчавую голову между ветвей. А когда черным людям с этого берега случалось поймать кого-нибудь из тех, кто на том, пленника привязывали к столбу. От нечего делать его расстреливали, как мишень для стрельбы. И наоборот: когда кто-нибудь из его людей попадался на том берегу, ему разрубали руки и ноги. Затем клали на ночь в реку так, что торчала одна голова. А наутро рубили голову.

Я спрашиваю: чем белый человек отличается от черных? Чем мы отличаемся от него? Одно из двух: или «не убий» и тогда мы такие же разбойники, как Победоносцев и Трепов. Или «око за око и зуб за зуб». А если так, то к чему оправдания? Я так хочу и так делаю. Или здесь скрытая трусость, боязнь чужого мнения? Боязнь, что скажут: убийца, когда теперь говорят: герой. Но на что мне чужое мнение?

Раскольников убил старушонку и сам захлебнулся в ее крови. А вот Ваня идет убивать и, убив, будет счастлив и свят. Он говорит: во имя любви. Да разве есть на свете любовь? Разве Христос воистину воскрес в третий день? Все это слова... Нет, Если вошь в твоей рубашке Крикнет тебе, что ты блоха, Выйди на улицу И убей!

4 апреля.

Федор рассказывает:

– Было это дело на юге в Н. Знаешь улицу, что низом от вокзала идет? Ну, еще часовой на горке стоит? .. Взял я бомбу, – сам изготовил, – в платок увернул, наверх взобрался. Недалеко от часового стою, шагах этак в двадцати пяти. Дожидаю. Вот, гляжу: пыль пошла, казачишки едут. А за казачишками он, свою персоной, в коляске и офицер какой-то при нем. Поднял я руку, бомбу высоко держу. Он, как глянет, завидел меня, белый, как скатерть сделался. Я на него смотрю, он на меня. Тут я, Господи благослови: с размаху бомбу вниз. Слышу: взорвало. Ну, я бежать. Браунинг у меня был хороший, Ванин подарок. Обернулся: часовой меня на винтовку ловит. Стал я кружить, для затруднения, значит. Кружу, а сам из револьвера стреляю. Так, главное для страха. Патроны все расстрелял, обойму переменял, дальше бегу. Глядь: из казармы солдаты бегут, пехота. На ходу в меня из винтовок палят. Им бы остановиться, да с места бы и стрелнуть. Наповал бы убили. Ну, перебежал это я поле, до домов добежал. Что такое? Из переулка матросы бегут. Ну, я раз-раз, раз-раз, обойму всю опять расстрелял. Уж и не знаю, убил ли кого. Бегу. В улицу завернул, – заводские с работы идут. Я к ним. Слышу: не трожь, ребята, пусть бежит. Я, – в толпу, револьвер – в карман, шляпу скинул, нашлепку надел, пиджак скинул, в рубашке остался... Папироску тут закурил, завернулся со всеми. Иду. Будто тоже с завода, солдатам, значит, навстречу.

–Ну?

– Ну, ничего. Домой пришел. Дома слышу: бомбой коляску взорвало, ему кишки разнесло, да двух казачишек убило.

– А скажи, – спрашиваю я его, – если мы генерал-губернатора уьем, ты будешь доволен?

– Барина если уьем?

– Ну да.

Он улыбается. Блестят крепкие, как молоко белые зубы.

– Чудак . . . Конечно доволен.

Но ведь тебя, Федор, повесят.

Он говорит:

– Так что? Две минуты, – готово дело. Все там будем.

–Где?

Он хохочет:

– Да у свиной собачьих.

7 апреля.

Прошла страстная неделя. Сегодня веселый перезвон: Пасха. Ночью радостный крестный ход, слава Христу. А с утра вся Москва на Девичьем поле, яблоку негде упасть. Бабы в белых платочках, солдаты, оборванцы, гимназисты. Целуются, щелкают семечки, зубоскалят. На лотках красные яйца, пряники, американские черти. На ленточках разноцветные пузыри. Люди, словно пчелы в улье: гомон и шум.

В детстве говеешь еще на шестой. Пост всю неделю, до причастия ни маковой росинки во рту. На страстной неистово бьешь поклоны, к Плащанице всем телом прильнешь: Господи, прости мне мои прегрешения. У заутрени, как в раю: свечи ярко горят, воском пахнет, ризы белые, киот золотой. Стоишь, не вздохнешь, – скоро ли воскреснет Христос, скоро ли домой со святым куличом пойдешь? Дома праздник, великое торжество. Всю святую неделю праздник.

А сегодня мне все чужое. Томит колокольный звон, скучен смех. Уйти бы, куда глаза глядят, не вернуться.

– Барин, купите счастье, – сует мне девчонка конверт. Девчонка босоногая, рваная, какая-то вся непраздничная. На клочке серой бумаги напечатано предсказание:

«Если тебя преследуют неудачи, не теряй надежды и не предавайся отчаянию. Труднейшее преодолеешь и повернешь, наконец, к себе колесо фортуны. Твое предприятие окончится полным успехом, которого даже не смеешь ожидать».

Вот и яичко на красный день.

8 апреля.

Ваня живет на Миусах, на постоялом дворе, в артели. Он спит вповалку на нарах. Ест из котла. Сам чистит лошадь, моет пролетку. Днем – на улице, на работе. Он не жалуется, доволен.

Сегодня он в новой поддевке, волосы смазаны маслом, сапоги у него со скрипом. Он говорит:

– Вот и Пасха пришла. Хорошо ... Жорж, ведь Христос-то воскрес.

– Ну так что ж, что воскрес?

– Эх ты... Радости в тебе нет. Мира ты не приемлешь.

– А ты приемлешь?

– Я? Я – дело другое. Мне тебя, Жоржик, жалко.

– Жалко?

– Ну да. Никого ты не любишь. Даже себя. Знаешь, есть у нас на дворе извозчик Тихон. Черный такой мужик, курчавый. Зол, как черт. Был он когда-то богат, потом погорел: подожгли. Простить до сих пор не может. Всех прокликает: Бога, царя, студентов, купцов, даже детей. И тех ненавидит. Сукины дети все, – говорит, – и все подлецы. Кровь христианскую пьют, а Бог с небес радуется ... Давеча прихожу из чайной на двор, гляжу: посреди двора Тихон стоит. Ноги расставил, рукава засучил, кулачища у него громадные, – лошаденку свою вожжей по глазам хлещет. Лошаденка-то хилая, еле дышит, морду в гору дерет. А он ее по глазам, по глазам. Стерва, – хрипит, – сволочь проклятая, я тебе покажу, я тебя научу... За что, говорю, Тихон, бьешь животину? Молчи, – кричит, – хлюст паршивый ... И давай хлестать еще свирепее. На дворе грязь, вонь, конский навоз, а наши повылезли, смеются, Тихон, мол, балует... Так и ты, Жоржик, всех бы вожжей по глазам... Эх ты, бедняга.

Он скусывает кусочек сахара, долго пьет чай, потом говорит:

– Не сердись. И не смейся. Вот я думаю. Знаешь, о чем. Ведь мы нищие духом. Чем, милый, живем? Ведь голой ненавистью живем. Любить-то мы не умеем. Душим, режем, жжем. И нас душат, вешают, жгут. Во имя чего? Ты скажи. Нет, ты скажи.

Я пожимаю плечами.

– Спроси Генриха, Ваня.

– Генриха? Генрих верит в социализм, знает, что люди будут свободны и сыты. Но ведь это же все для Марфы, а что для Марии? За свободу можно, конечно, жизнь отдать. Что за свободу? За слезу одну можно. Я молюсь: пусть не будет рабов, пусть не будет голодных. Но ведь это же, Жоржик, не все. Мы знаем, мир неправдой живет. Где же правда? Скажи.

– Что есть истина? Да?

– Да, что есть истина. А помнишь: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего».

– Ваня, Христос казал: не убий.

– Знаю. Ты о крови пока молчи. Ты вот что скажи: Европа два великих слова миру сказала, два великих слова своею мукой запечатлела. Первое слово: свобода, второе слово: социализм. Ну, а мы, что миру сказали? Кровь лилась за свободу. Кто ей верит теперь? Кровь лилась за социализм? Что же, по-твоему, социализм – рай на земле? Ну, а за любовь, во имя любви, кто-нибудь на костре горел? Разве кто-нибудь из нас смел сказать: мало еще, чтобы люди были свободны, мало еще, чтобы с голоду дети не умирали, чтобы матери слезами не обливались. Нужно еще, нужно, чтобы люди друг друга любили, чтобы Бог был с ними и в них. Про Богато, про любовь-то забыли. А ведь в Марфе одна половина правды, другая в Марии. Где же наша Мария? Слушай, я верю: вот идет революция крестьянская, христианская, Христова. Вот идет революция во имя Бога, во имя любви, и будут люди свободны и сыты, и в любви будут жить. Верю: наш народ, народ Божий, в нем любовь, с ним Христос. Наше слово – воскресшее

слово: ей, гряди, Господи!.. Маловеры мы и слабы, как дети, и поэтому поднимаем меч. Не от силы своей поднимаем, а от страха и слабости. Подожди, завтра придут другие, чистые. Меч не для них, ибо будут сильны. Но раньше, чем придут, мы погибнем. А внуки детей будут Бога любить, в Боге жить, Христу радоваться. Мир им откроется вновь, и узрят в нем то, чего мы не видим. А сегодня, Жоржик, Христос воскрес, святая Пасха. Ну, так в этот день забудем обиды, перестанем хлестать по глазам ...

Он задумчиво умолкает.

– Что ты, Ваня? О чем?

– Да вот, слушай: цепь неразрывная. Нет мне выхода, нет исхода. Иду убивать, а сам в Слово верю, поклоняюсь Христу. Больно мне, больно ...

В трактире пьяный гул. Люди справляют праздник. Ваня склонился над скатертью, ждет. Что я могу ему дать? Разве вожжей по глазам? . .

9 апреля.

Я опять с Ваней. Он говорит:

– Знаешь, когда я Христа узнал? В первый раз Бога увидел? Был я в Сибири, в ссылке. Пошел я раз на охоту. В Обской губе дело было. Обь-то у океана – море. Небо низкое, серое, река тоже серая, серые гребни волн, а берегов не видать, будто вовсе их нет. Высадили меня из лодки на островок. Сговорились: к вечеру, мол, за тобой приедем. Ну, брожу я, уток стреляю. Кругом болото, березки гнилые, кочки зеленые, мох. Шел я, шел, от края совсем отбился. Утку одну застрелил, запала, найти не могу. Ищу между кочек. А тут и вечер упал, потянуло туманом с реки, стало темно. Вот решил я к берегу добираться. Кое-как по ветру взял направление, иду. Шагнул, чувствую: ноги вязнут. Я было на кочку хотел, нет, – тону в болотной трясине. Знаешь, медленно так тону, на полвершочка в минуту. Сиверко, дождь пошел. Дернул я ногу, не выдернул, хуже: еще на вершок увяз. Поднял я тут ружье, стал с отчаяния в воздух стрелять. Авось услышат, авось помогут, придут. Нет, тишина, только, слышу, ветер свистит. Вот стою я так, почти по колено в тине. Думаю: в болоте завязну, пузыри надо мною пойдут, будут, как прежде, одни зеленые кочки. Противно мне стало, до слез. Рванул опять ногу, – еще того хуже. Оледенел я весь, как осина дрожу: вот он какой конец, на краю света, как муха... И знаешь, в сердце как-то все опустело. Все – все равно: погибать. Закусил я губы до крови, из последних сил рванул в третий раз. Чувствую, – выдернул ногу. Тут вдруг радостно стало. Гляжу, бродень в болоте увяз, нога вся в крови. Кое-как я на кочку одной ногою ступил, ружьем оперся, другую ногу тяну. Ну, как стал обеими ногами, боюсь шелохнуться. Думаю: шаг ступлю, значит, – обратно в трясину. Так всю ночь до рассвета, на одном месте и простоял. Вот в эту длинную ночь, когда я в болоте стоял и сеял дождь, и небо было темное, и ветер выл, в эту-то ночь я и понял, знаешь, всем сердцем, до конца понял: Бог над нами и с нами. И не страшно мне было, а радостно: с сердца камень упал. А утром товарищи подошли, подобрали меня.

– Перед смертью многие Бога видят. Это от страха, Ваня.

– От страха? Что ж, может быть. Только что же ты думаешь? Бог тебе здесь, в грязном трактире, явиться может? Перед смертью душа напрягается, пределы видны. Вот почему и Бога люди чаще всего перед смертью видят. Увидел и я.

Слушай дальше, – продолжает он, помолчав, – великое счастье Бога увидеть. Пока не знаешь его, не думаешь о нем вовсе. Обо всем думаешь, а об нем нет. Сверхчеловек вот иным мерещится. Ты подумай только: сверхчеловек. И ведь верят: философский камень нашли, загадку жизни. А по-моему, смердяковщина это. Я, мол, ближних любить не могу, а зато люблю дальних. Как же дальних можешь любить, если нет в тебе любви к тому, что кругом? Если нет любви к тем, что в грязи, в крови, в муках живут? Знаешь, легко умереть за других, смерть свою людям отдать. Жизнь вот отдать труднее. Изю дня в день, из минуты в минуту жить любовью, Божьей любовью к людям, ко всему, что живет. Забывать о себе, не для себя строить жизнь, не для дальних каких-то. Ожесточились мы, озверели. Эх, милый, горько смотреть: мечутся люди, ищут, верят в китайских божков, в деревянных чурбанов, а в Бога верить не могут, а Христа любить не хотят. Яд в нас с детства горит. Вот Генрих, не скажет: цветок, говорит: семьи такой-то, вида такого-то, лепестки такие-то, венчик такой-то. За этим сором он цветка не увидел. Так и Бога за сором не видим. Все по арифметике, да по разуму. А вот там, когда я под дождем на болотной кочке стоял, смерти своей дожидался, там я понял: кроме разума есть еще что-то, да шоры у нас на глазах, да не видим, не знаем. Ты, Жоржик, чего смеешься?

– Да ведь ты словно поп приходский.

– Ну, пусть поп. А ты мне скажи, – можно жить без любви?

– Конечно можно.

– Как же? Как?

- Да плевать на весь мир.
 - Шутишь, Жорж.
 - Нет. Не шучу.
 - Бедный, Жоржик, ты бедный .. .
- Я прощаюсь с ним. Я опять забываю его слова.

10 апреля.

Сегодня я видел генерал-губернатора. Он высокий благообразный старик, в очках, с подстриженными усами. Глядя на его спокойное лицо, никто не скажет, что на его совести тысячи жертв.

Я шел через Кремль. На площади, вчера белой, сегодня мокрые камни. Лед стоял и Москва-река ярко блестит на солнце. В фабричном дыму тонет Замоскворечье. Чирикают воробьи.

У подъезда дворца карета. Я сразу узнал ее: черные кони, желтые спицы колес. Я пересек площадь и пошел к дворцу. В это время дверь распахнулась, часовой стукнул ружьем, городской отдал честь. С мраморной белой лестницы медленно спускался генерал-губернатор. Я прирос к мостовой. Я, не отрываясь, смотрел на него. Он поднял голову и взглянул на меня. Я снял шляпу. Я низко опустил ее перед ним. Он улыбнулся и приложил руку к фуражке. Он поклонился мне.

В эту минуту я ненавидел его.

Я побрел в Александровский сад. Ноги вязли в размытой глине дорожек. В березах шумно летали галки. Я чуть не плакал: мне было жаль, что он еще жив.

12 апреля.

В свободные часы я ухожу в Румянцевскую библиотеку. В тихом зале стриженные курсистки, бородатые студенты. Я резко отличаюсь от них своим бритым лицом и высокими воротничками.

Я со вниманием читаю древних. У них не было совести, они не искали правды. Они попросту жили. Как трава растет, как птицы поют. Может быть в этой святой простоте – ключ к приятию мира.

Афина говорит Одиссею:

«Буду стоять за тебя и теперь я, не будешь оставлен мной и тогда, как приступим мы к делу. И думаю, скоро лоно земли беспредельной обрызжется кровью и мозгом многих из тех незаконных, твое достояние губящих».

Какому богу мне молиться, чтобы он не оставил меня? Где моя защита и кто мой покровитель? Я один. И если нет у меня бога, я сам себе бог. Ваня говорит: «Если все позволено, тогда – Смердяков». А чем Смердяков хуже других? И почему нужно бояться Смердякова?

«Лона земли беспредельной обрызжется кровью и мозгом...»

Пусть обрызжется. Я ничего против этого не имею.

13 апреля.

Эрна мне говорит:

– Мне кажется, я жила только для того, чтобы встретить тебя. Ты виделся мне во сне. Я о тебе молилась.

– Эрна, а революция?

– Мы вместе умрем ... Слушай, милый, когда я с тобой, мне кажется, что я маленькая девочка, еще ребенок. Я знаю: я ничего не могу дать тебе. Но у меня есть любовь. Возьми же ее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.